

ПРИГЛАШЕНИЕ К СПОРУ

Андрей АРЬЕВ

ПУЗЫРИ ЗЕМЛИ (К теории почвенничества)

Только об одном художнике, из когда-либо живших в нашем смиренном отечестве, более ста лет подряд после его кончины говорят как о «писателе будущего». Вне церковных стен он создал новую «христианскую антропологию», приучил образованных людей к мысли, что «во зле лежащий мир» найдет в Христе спасение прежде, чем в Истине, и что на земле может обнаружиться неведомый доселе «народ-богоносец»...

Земля тут оказывается как бы локальным творением Бога. И — что еще важнее — на самой нашей планете подразумеваются области обнаружения Божественного промысла, районы, на которые излилось «божественное семя». Как пишет тезка «писателя будущего» Федор Степун: «Верховным образом, которым Достоевский уточняет свое понятие идеи, является образ «Божественного семени», которое Бог бросает на землю и из которого вырастает Божий сад на земле»¹.

Там, где «Божественное семя» дало всходы, родились избранные Богом народы, в этих местах началась священная история. «Идеал красоты человеческой — русский народ», — записывает Достоевский незадолго до смерти (27; 59).

Собственно говоря, открытие, сделанное Достоевским, с отвлеченной точки зрения не столь и ошеломляет: избранный народ — Израиль — известен каждому христианину. Гораздо интереснее другое, то, что эта истина воспринята как недостаточно полная, может быть, даже «низкая». Что Вифлеем? что Назарет? что сад Гефсиманский? Тем более, что — Египет? Если — по ощущению другого русского гения — «всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благославляя».

¹ Федор Степун. «Миросозерцание Достоевского». Сб. «О Достоевском». М., изд-во «Книга», 1990. С. 341.

Чудо — особенно близкое сердцу — в обоснованиях не нуждается. Точнее говоря, нуждается только в этом — сердечном — обосновании.

Понятно, что народ, землю которого благословил и среди которого пребывал Царь Небесный, есть избранный народ, имеющий «всечеловеческое», как иносказательно подытожил Достоевский, назначение.

Внутренняя связь тут непреложна: Христос — русская земля — племя, ее населяющее. Иными словами: «Божественное семя» — «Богородица-земля» — «народ-богоносец».

С точки зрения ортодоксального христианства все это отдает ересью, хлыстовством (а православную мысль и саму по себе подозревают в «пантеистическом уклоне»).

Видимо еще и поэтому амбивалентнейший Достоевский делает адептами подобных сокровенных положений персонажей несомненно симпатичных и столь же несомненно ущербных. Например, в «Бесах» — Шатова и Марью Тимофеевну Лебядкину. Первый ищет в народе какого-то «земного Бога», вторая исповедует темное откровение старицы: «Богородица — великая Мать сыра земля есть» (10; 116).

Достоевский к этому циклу мыслей, мыслей-интуиций имеет прямое отношение. Они представляются мне мистическим развитием его почвеннических идей, самих по себе на первых порах вполне ясных, но как-то необъяснимо вышедших у него из прямого употребления, едва он успел их сформулировать. К ним мы еще вернемся, ввиду небывалой популярности самого по себе термина «почвенничество», не сходящего с уст интеллектуальных российских граждан последнюю четверть века.

Неразрешимость конечной мысли Достоевского о Христе и русском народе заключалась в том, что ее проективность на самом деле ретроспективна (и в этом смысле писатель наследует славянофилам). Народ — это то, что **было**, было всегда, но что не может быть персонифицировано в настоящем, в отдельном лице. Сколь несомненна для Достоевского связь Христа с народом в целом, столь же сомнительна Его связь с отдельной личностью.

Приватная жизнь, сепаратное сознание есть признаки разрушения священного прошлого — то есть незыблемых основ народной жизни — а вместе с ним и разрушение самих заветов Христа: «Все Христовы идеи, — размышляет Достоевский, — оспоримы человеческим умом и кажутся невозможными к исполнению» (27; 56). Поэтому **любое** развитие характера в произведениях писателя, **любая** эволюция суть выявление трагедии, которую позже назовут «экзистенциальной». Или сведение жизни к излюбленной православием «нищете духовной».

Основные персонажи Достоевского — это «братья в одиночестве», братья по трагедии одиночества. И праведник, и грешник, насколько они выбирают судьбу **индивидуально**, находят лишь путь к трагическому финалу. Этот исход роднит второго с первым, что бы их ни разъединяло. В этом смысле автором подчеркивается даже братство Мышкина с Рогожиным. И уже по крови все братья в последнем романе Достоевского. В нем инспиратор убийства Иван Карамазов размышляет о священной истории вдохновенней Алеши, а младший ангелоподобный брат может, по замыслу автора, пойти в террористы.

Такова судьба индивида. Из какой бы среды приватная личность у Достоевского ни проклюнулась, она являет собой продукт распада.

Гениальная **исключительность** Достоевского определяется его отрицанием бытия **исключительной** личности. Ибо, по Достоевскому, «народ», а не «индивид», все еще присутствует в исторической жизни — во всей своей «соборности». И бытие этого «народа» непроницаемо — почти как бытие Бога. Можно узнать одну лишь «внешность» народной жизни, сколько бы среди этого «народа» ни жить.

Жить **среди** народа — это и значит не принадлежать к нему, не быть укорененным в «почве». В лучшем случае — оказаться непроросшим семенем. Заметим, что сам Достоевский даже и **среди** народа практически не жил. Жил среди каторжников, «народа», но очень уж специфического. Поэтому и утверждал — вопреки исповедуемой смиренной доктрине — что лишь в крайностях можно обнаружить «типическое». То есть, переводя на философский язык, в «конечном» обнаружить «всеобщее».

Самый же удивительный результат подобного мироощущения (привязывающего корни небесные к корням земным) заключается в том, что человек, им обладающий, теряет шанс идентифицировать себя с народом по самому для него неоспоримому признаку — национальному. Религиозная идея — в отличие от национальной — универсальна. «**Национальное** сознание сделалось невозможным, — резюмирует Н. А. Бердяев, — возможным оказалось только **народническое** сознание»². Это как раз о временах Достоевского.

Больше того. Обожествление народа ведет к неизбежному разрушению и самих по себе религиозных, христианских устоев сознания. «Именно с церковной, религиозной точки зрения, — пишет Бердяев по более частному поводу, — народничество должно быть признано наибольшей ложью и подменой; оно посягает на универ-

² «Бердяев о русской философии». В 2-х тт. Том 1. Свердловск, изд-во Уральского ун-та, 1991. С. 114.

сальную качественность церкви, подменяет ее ограниченной эмпирической народной данностью. В этом опасность крайней национализации церкви, переходящей в отождествление ее с народом <...> народный коллективизм не есть церковная соборность и отличается от нее, как земля от неба»³.

По Бердяеву, кстати, Достоевский и был самым настоящим «народником» — не хуже Н. К. Михайловского⁴.

В грех обожествления русской сельской общины — и вообще любых коллективистских форм общежития — отечественные мыслители, начиная со славянофилов, склонны впадать глубже всего.

Однако ж, если не переоценивать значения хваленого «Дневника писателя», из которого изложенное мировоззрение выводится однозначно, притягательность Достоевского в первую очередь — в его потрясающей неоднородности, антиномичности. И речь тут даже не о его прославленном М. М. Бахтиным полифонизме (многими солидными достоевскооведами оспариваемом), а в эзотерической — воистину восточной! — потребности в **самоотрицании**. Потребности этой наследует едва ли не вся русская интеллигенция, сначала, может быть, Достоевского признававшая и не слишком, но теперь принявшая поголовно.

Интеллигенция наша погружена в какую-то неврастеническую нирвану, отчего и является «самой ненаблюдательной», по определению В. В. Набокова, публикой в мире. Аттестация, на мой взгляд, скорее положительная, говорящая о неразвитости хищнических инстинктов. Но зато чем интеллигенция поражает на самом деле, так это тем, что непрерывно становится в интеллектуальную оппозицию не столько к власти — на стороне гонимых и слабых, как ей предназначено ее миссией — сколько к самой себе. Она отрицает самое себе и сама себя хоронит.

Самопохороны эти начались в XX веке с «Вех», изданных с благой целью открыть новые горизонты интеллигентскому сознанию, предложить интеллигенции вместо «героического», жертвенного и радикального пути дорогу «подвижничества» и «религиозного гуманизма». Сборник составлялся не **против** интеллигенции, как его трактуют, а **для** интеллигенции. Составлялся **интеллигенцией** же, вовсе не ориентированной ортодоксально — ни с точки зрения русской православной церкви, ни, тем более, с точки зрения властей предержавших.

Авторы «Вех» предъявили интеллигенции счет за ее «нигилистический морализм» в оценке русской действительности. Остав-

³ Н. А. Бердяев. Собрание сочинений. Том 4. Париж, ИМКА-Пресс, 1990. С. 137.

⁴ Там же. С. 133.

пись «нигилистическими моралистами» по отношению к тому «ордену», к которому имели прискорбную честь принадлежать сами.

Известно остроумное и точное определение интеллигенции, сделанное Г. П. Федотовым: духовный орден, отличающийся идейностью задач и беспочвенностью идей.

Сегодня в очередном приступе самоотрицания интеллигенция отторгает от себя «образованщину». Или же вовсе не хочет самоидентифицироваться, заявляя, что «интеллигенция» — это недоучившаяся и бездарная часть гуманитариев с непомерными амбициями. Скажем, В. И. Ленин — это «типичный интеллигент» (даром, что пытался вырезать — и вырезал — всю эту интеллигенцию ножичком, как аппендикс). А вот Федотов, он уже — кто? Отвечу. Федотов был интеллигентом и ни кем иным, кроме как интеллигентом. Но та традиция интеллигентской мысли, которой он в общих чертах следовал, влекла его к созданию своего рода «идейного почвенничества», противостоящего «беспочвенному революционаризму» радикально настроенного крыла доблестного ордена. И характерно, что русские мыслители, подобные Федотову и авторам круга «Вех», начинали с **отрицания** сложившегося порядка идей, мимо уже готового комплекса идей почвеннических пролетов. Их внимание Достоевский привлек совсем другим, новым, вполне беспочвенным соблазном. Например, «Апофеоз беспочвенности» Льва Шестова — уже вполне «достоевская» — в духе XX века — вещь.

И эта неявная суть мироощущения Достоевского русской интеллигенцией, нервной и чуткой к явлениям незримым, была усвоена поначалу лучше, чем «прямоговорение» «Дневника писателя» и манифесты из «Объявлений о подписке» на журнал «Время».

При всей своей неизменно декларируемой «русскости», при всем своем «почвенничестве», при всем признании народных ценностей как высших в истории, Достоевский оказывается едва ли не самым «беспочвенным» писателем России — да и всего мира — произвольным носителем заповедей духовного странничества, художником в высшей степени планетарным, урбанистическим, певцом подпольного, неорганического быта и бытия. И в этом смысле, действительно, «писателем будущего».

В связи с этим хочу подчеркнуть, что «почвенничество», как таковое, возникло в самом интеллигентском из российских городов — в Петербурге, самом беспочвенном крае необозримой империи. Беспочвенном даже и буквально: нет почвы, одни разверстые хляби, болота да гранит.

Здесь нельзя не вспомнить о Льве Толстом, с идеологией которого слово «почва», беспристрастно говоря, ассоциируется не

меньше, чем с Достоевским. Хотя сам автор народных рассказов «почвенником» себя не называл. Но и он в «мужике» правду-истину подозревал. В более конкретном мужике и более конкретную правду, чем у Достоевского. А потому мог написать в «Анне Карениной» фразу, выведшую из себя автора «Мертвого дома». В последней части толстовского романа его образованный герой, помещик, а не мужик, Дмитрий Левин говорит: «Я сам народ»⁵.

Чтобы быть «народом» Толстому, пожалуй, достаточно жить землей, уметь кормиться ею, добывать хлеб насущный, как это делает крестьянин, быть в ладу с его вековыми воззрениями и самому придерживаться их.

«И какое самомнение, какая гордость, какая заносчивость!» — реагирует Достоевский в «Дневнике писателя», весьма едко предвзяв свой вердикт: «А почему он так уверен в том, что он народ? А потому, что запречь телегу умеет и знает, что огурцы с медом есть хорошо» (25; 218).

Это «умение» и это «знание» не ликвидируют, по Достоевскому, «обособленность» героя, а, пожалуй, даже подчеркивают его неслиянность с «почвой», интеллектуальную умышленность этого «слияния». «Существенная разница» между толстовским героем и народом состоит уже в том, говорит автор «Дневника писателя», что «...всего только два часа тому, как Левин и веру-то свою получил от мужика...» (25; 218). Левин, с его сугубо индивидуальным, личным поиском смысла существования являет собой явный случай «обособления», то есть позиции априорно чуждой «соборному» идеалу народа. «Обособление» есть первородный грех образованной личности, изжить который — как чувствовал и сам Достоевский, себя «народом» все-таки не именовавший — невозможно.

Однако у Толстого подчинение «власти земли» имеет несколько иной, чем у Достоевского, оттенок. Оно ощущается как тяга к слиянию с природным началом, как романтическое «возвращение» заблудившегося в туманах культуры сына. Но «возвращение блудного сына» всегда есть возвращение к прошлому, к архаике. И для Толстого «народ» — это тоже наше прошлое. Ибо «идеал наш сзади, а не впереди», — говорит он, советуя «нам», «образованным людям» учиться писать у крестьянских ребят⁶.

Толстовское возвращение к «почве» есть возвращение к «природе», понятой в ее новом и угрожаемом противоположении «культуре». «Культуре», поглощаемой мировой «цивилизацией».

⁵ Лев Толстой. Собрание сочинений в 12-ти тт. Т. 8. М., изд-во «Правда», 1984. С. 412.

⁶ Лев Толстой о литературе. М., ГИХЛ, 1955. С. 92.

Во всяком случае, «культура», по интуиции Толстого, своей высотой не должна превышать высоту хлебов, быть и на самом деле «почвенной».

Дальнейшая русская философская мысль, кажется, не делает культуре и этой уступки. И чем культурнее мыслитель, тем более резкую черту между «культурой» и «природой» он проводит. Как, например, о. Павел Флоренский в работе 1917 года «У водоразделов мысли». В более позднем труде о происхождении «культуры» из «культы» он и вообще не дает никаких шансов понимать «культуру» в европейском, латинском смысле — как сферу человеческого бытия, связанную изначально с обработкой земли.

Возникшее в 1860-е годы русское почвенничество, почвенничество Достоевского, Аполлона Григорьева, Николая Страхова было, конечно, более просветительской идеологией, чем идеология Флоренского или даже Толстого. Оформившееся после отмены крепостного права почвенничество осознавало: для того, чтобы получить от мужика «веру», как ее получил герой Толстого, нужно бы дать ему сначала в руки «Библию», которой он отродясь не читал. Иначе ты получишь, вместо незамутненного толкования христианства, весьма синкретическую его смесь с более древним на Руси, укорененным в «почве» язычеством.

Для того, чтобы учиться писать у крестьянских детей, нужно, как минимум, обучить этих детей грамоте.

Почвенничество создано в первую и последнюю очередь русскими культурнейшими людьми, русскими антиномичнейшими художниками, посмеявшимися искоренять народные предрассудки, одновременно молясь на этот народ как на Христа, правого и вне Истины.

Поэтому, скажем, для Аполлона Григорьева почвенничество — это «творчество жизни», а не «логика». «Все идеальное, — утверждает он, — есть аромат и цвет реального».

Трактуя это знаменитое изречение, прот. В. В. Зеньковский мягко указывает «на момент натурализма в религиозном сознании» почвенника⁷. На самом деле — это момент утверждения национальных, языческих основ культуры, момент, плохо вяжущийся с христианским универсализмом, но основополагающий для бытия любой культуры. Как говорил весьма метафизичный Т. С. Элиот, английское дерби — тоже неотъемлемый элемент культуры.

Замечательно, что Достоевский, в отличие от его адептов, никогда против культуры не выступал. И в своем почвенничестве

⁷ Прот. В. В. Зеньковский. История русской философии. В 2-х тт. Т. 1. Париж, ИМКА-Пресс, 1989. С. 407.

чаял одного, простого: «Только образованием можем мы завалить и глубокий ров, отделяющий нас теперь от родной почвы» (19; 20).

Путь к «общечеловеческому назначению русского племени» в 1861 году виделся прямым: «Образованность и теперь уже занимает у нас первую ступень в обществе. Все уступает ей; все словные преимущества, можно сказать, тают в ней... В усиленном, в скорейшем развитии образования вся наша будущность, вся наша самостоятельность...» (19; 18—19).

Так, образовавшись, «мы возвращаемся на нашу почву с сознательно выжитой и принятой нами идеей общечеловеческого нашего назначения» (19; 20).

Наше «общечеловеческое назначение», по признанию Достоевского, «угадано Петром» (19; 18) — «антихристом», если взглянуть на царя с народной колокольни. Неслучайно, видимо, «Отечественные записки», как сетовал Достоевский, «жестoko смеялись» над программой почвенников, видя в ней прямое указание пути к осуждаемой ими же «европейской цивилизации». Привитие обществу народных начал есть, действительно, задача столько же западная, сколько и восточная, выдвинутая до нас (и для нас) европейским романтизмом в целом. Даром, что «Отечественным запискам» нечего было смеяться, а Достоевскому нечего было переживать: все верно, и путь был открыт всем.

Но почвенники не ищут рациональных обоснований. Культурную программу им нужно непременно перевести на мистические рельсы. Нужно усомниться в том, что дважды два — четыре. «Дважды два» для них «глядит фертом». И вот уже на этом направлении «общечеловеческое назначение русского племени» приводит их к прозрению об этом «племени» как о «народе-богоносце», заново разводит сошедшиеся было понятие «почва» и «культура».

Чем пламеннее у нас «почвой» клянутся, тем дальше от нее улетают. И почвенничество, возникшее как культурная программа, превращается в фантом национального избранничества.

Естественно, что люди сейчас задаются вопросом, возможно ли вообще «культурное почвенничество»? Дилемма, на самом деле важная сегодня, когда преодоление земельного кризиса, как это было и в России эпохи крестьянских реформ 1860-х годов, едва ли не залог ее выживания. Задача и сейчас та же самая: не усомниться в культурных ценностях, а придать им больший вес, связав с землей, с почвой. Ибо, как говорит Достоевский, «...если в стране владение землей **серьезное**, то и все в этой стране будет серьезно» (25; 138).

Весь характер нации Достоевский ставил в прямую зависимость от характера землевладения. Характеры, конечно, бывают

разные. Но независимо от характеров нормальные люди и жизнь себе создают нормальную, бросают зерна в землю, а не в реку, и знают, что написанное пером не вырубить топором. Они знают, что сознательная жизнь нации выражается в ее культуре и что культурное творчество давно перестало быть безымянным.

Почвенники и не обольщали себя надеждой, что современная культура создается, так сказать, впрямую народом. По крайней мере, прославившая Россию литература — продукт образованного слоя нации. И — высокообразованного. «...Теперь литература есть одно из главнейших проявлений русской сознательной жизни», — писал Достоевский в 1862 году (19; 150).

О сущности крестьянской реформы 1860-х годов Достоевский, называя надвигающиеся события «переворотом», говорил, что они есть слияние «...образованности и ее представителей с началом народным и приобщение всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни, — народа, отшатнувшегося от Петровской реформы <...> и с тех пор разъединенного с сословием образованным, жившего отдельно, своей собственной и самостоятельной жизнью» (18; 35).

«Слияния» этого, однако, не произошло. Зато оно стало трактоваться в мистическом, страшно лестном для народа смысле. Ничего доброго — народу во всяком случае — религиозное его обожествление не принесло. А души губить — чужие — позволило. Чужие, тем самым и свои.

С таким соблазнительным прошлым как бы не отшатнулся народ и от современных реформ. «Сливаться» ему теперь уже и совсем не видно с кем. Вместо создания новой культурной модели развития, людям предлагается вступить на исшмыганный другими народами капиталистический путь, который может оказаться такой же гнусной абстракцией, как путь социалистический. Ну, не лежит у нас покамест душа к накоплению, не представляем мы, что богатство может быть нажито праведно. «Трудом праведным не наживешь палат каменных».

Как бы не досадовать на эту нигилистическую премудрость или, наоборот, как бы ни умиляться нашему врожденному бессребренничеству, эта заповедь укоренена в русском опыте неизмеримо глубоко, можно сказать, впитана с молоком первых христианских матерей. Возрождение православия эту провоцирующую современное русское сознание антиномию не устраняет, а как бы не ставит во главу угла. Кем и славна была когда-то на Руси православная церковь, так как раз своими «нестяжателями». Внутренне, духовно спор между «нестяжателями» и «носифлянами», начиная с XV века, был в ней основным.

Заменяя населению светскую культуру, ревнуя к ней, именно церковь, как никакой другой институт, с подозрением относилась ко всяческому богатству, даже и к интеллектуальному. В этом православие особенно преуспевало, на все лады превознося блаженными тех, кто «нищ духом». С христианской точки зрения идеальное человеческое состояние — бедность, а не богатство. В каком бы метафизическом ключе ни толковать Евангелие от Матфея — «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» — русский крестьянин всегда понимал эту притчу буквально.

Впрочем в нынешней православной церкви и «нестяжателей» что-то не видно, зато видна «иосифлянская» забота о приобретении «монастырских угодий». Вот уже и могилу Пушкина в Святогорском монастыре церковь благополучно превратила в приют овец и кур... Иные запущенные и дальние обители церковь освящать не торопится. К православной общине дороги она не проторяет. Да и нет ее, этой дороги. Демократизация общества на основе роевой жизни хорошо обосновывалась теми же почвенниками теоретически, но на деле не удалась вовсе: принудительное родство счастья не сулит, личность не раскрепощает и труд не делает свободным.

Современные почвенники о демократии уже и слышать не хотят. Они говорят о православии, считают, что община поддерживает вековые христианские устои. Но это христианство, забывшее, что духовный труд выше физического, христианство, снимающее с человека личную ответственность за его земную жизнь, отдающее его под иго архаического коллектива. А поскольку необходимым условием существования подобного коллектива является наличие в нем вождя, то все эти нынешние борцы с расслоением общества на самом деле ратуют за диктатуру. Буквально — без диктатора не видят света в окошке. Хотя бы и в Европу.

Повторим тут еще раз: именно с религиозной точки зрения расцвеченное патриархальными узорами христианство наших новых почвенников есть потрясение основ церкви, подмена ее универсализма местнической конфессиональностью, попытка под видом соборности утвердить дух круговой поруки.

Ведь кто сейчас ходит в «почвенниках»? Это прежде всего люди из круга орденоносных «деревенщиков», поставивших на культурный сепаратизм, шутовскую реставрацию и химерическое «воскрешение отцов». Это если не обращать внимания на их тотальную ненависть «как источник вдохновения». Даром, что «отцы» таким «детям» свое наследство не оставляли. И почвенничество понимали совсем иначе: «...Первый шаг к достижению всякого согласия есть грамотность и образование» (Достоевский — 18; 37).

Согласимся, что это совсем не то пасмурное кликушество, что движет нынешним почвенническим идеологом:

Корабль спускается в пучину —
пешком готовьтесь по воде...⁸

И до сих пор им мало наших, утопленных под их темную музычку «богоносцев».

Создатели почвеннической теории к крестьянскому сословию не принадлежали, да и вообще к сельской жизни имели отношение вполне косвенное. Выкристаллизовавшие свои теории в петербургском журнале «Время» Достоевский и Аполлон Григорьев — самые городские, самые интеллигентские наши писатели XIX века. Не только по биографии, но и по духу творчества. Лишь в городе, в котором лучше всего ощущается долг человека перед землей и жажда этой земли, в «умышленном» городе, подобные теории и могли стать мировоззрением. Именно вследствие этого долга и этой жажды так сильны были в Петербурге интеллигентские порывы к самоотрицанию, и до сих пор свойственные едва ли не каждому представителю странного, но все-таки не ставящего корыстных целей «ордена», увидевшего свет на берегах Невы...

И как не вспомнить и не понять, наконец, несравненного лирика и кровного интеллигента из беспочвенной северной столицы, как не вспомнить Александра Блока — среди гранита и туманов до слез доводящего себя строчками из «Макбета»: «Земля, как и вода, содержит газы, и это были пузыри земли...» Так выражалась его тоска по органической культуре, заколдованной, намекающей о себе лишь болотными призрачными видениями. Это была тоска по «почве», по ее сакральной жизни, не разгаданной никем.

На самом деле все наше «почвенничество» — лишь старинный спор интеллигентов меж собою. Совестьливый спор о виновности или злобный — о виновных...

А народ... Что ж народ. Если целое столетие под его «богоносными» хоругвями укрывалось — и укрывается — столько кровавого сброда.

Достоверно о нем сказать можно только одно: народ — это та подавляющая часть населения, которая физически незнакома с другой его мизерной частью, говорящей от его имени.

⁸ Ст. Куняев. «Русское возрождение». Париж—Нью-Йорк—Москва. 1992. № 1. С. 57.